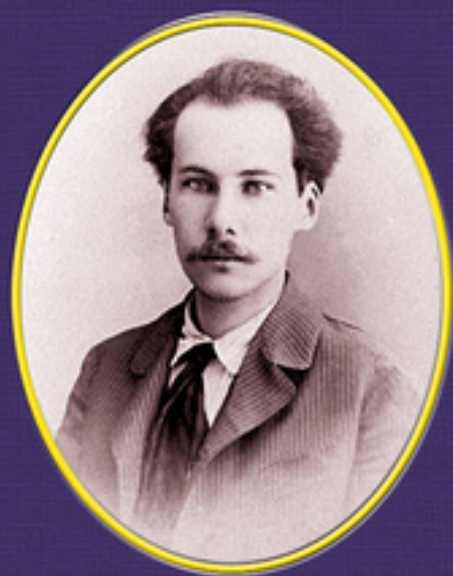


Андрей
Белый

Сочинения



Андрей Белый
Симфония
Серия «Симфонии», книга 2

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3119905

Аннотация

«Исключительность формы настоящего произведения обязывает меня сказать несколько пояснительных слов.

Произведение это имеет три смысла: музыкальный, сатирический и, кроме того, идейно-символический. Во-первых, это – симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основным настроением (настроенностью, ладом); отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывки на стихи (музыкальные фразы); неоднократное повторение некоторых музыкальных фраз подчеркивает это разделение...»

Содержание

Вместо предисловия	4
Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Андрей Белый

Симфония

(2-я, драматическая)

Вместо предисловия

Исключительность формы настоящего произведения обязывает меня сказать несколько пояснительных слов.

Произведение это имеет три смысла: музыкальный, сатирический и, кроме того, идейно-символический. Во-первых, это – симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основным настроением (настроенностью, ладом); отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывки на стихи (музыкальные фразы); неоднократное повторение некоторых музыкальных фраз подчеркивает это разделение.

Второй смысл – сатирический: здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма. Является вопрос, мотивировано ли сатирическое отношение к людям и событиям, существование которых для весьма многих сомнительно. Вместо ответа я могу посоветовать внимательнее приглядеться к окружающей действительности.

Наконец, за музыкальным и сатирическим смыслом для внимательного читателя, может быть, станет ясен и идейный смысл, который, являясь преобладающим, не уничтожает ни музыкального, ни сатирического смысла. Совмещение в одном отрывке или стихе всех трех сторон ведет к символизму...

*Москва,
26 сентября 1901 г.*

Часть первая

Стояла душная страда. Мостовая ослепительно сверкала.

Трещали извозчики, подставляя жаркому солнцу истертые, синие спины.

Дворники поднимали прах столбом, не смущаясь гримасами прохожих, гогоча коричнево-пыльными лицами.

На тротуарах бежали истощенные жаром разночинцы и подозрительные мещане.

Все были бледны, и надо всеми нависал свод голубой, серо-синий, то серый, то черный, полный музыкальной скуки, вечной скуки, с солнцем-глазом посреди.

Оттуда лились потоки металлической раскаленности.

Всякий бежал неизвестно куда и зачем, боясь смотреть в глаза правде.

Поэт писал стихотворение о любви, но затруднялся в выборе рифм, но посадил чернильную кляксу, но, обратив очи к окну, испугался небесной скуки.

Ему улыбался свод серо-синий с солнцем-глазом посреди.

Двое спорили за чашкой чаю о людях больших и малых. Их надтреснутые голоса охрипли от спора.

Один сидел, облокотившись на стол. Он поднял глаза к окну. *Увидел.* Оборвал все нити разговора. Поймал улыбку вечной скуки.

Другой наклонил к нему свое подслеповатое лицо, изрытое оспой, и, обрызгивая слюной противника, докрикивал свое возражение.

Но тот не пожелал обтереть лицо свое платком; он удалился в глубокое, окунулся в бездонное.

А торжествующий противник откинулся на спинку стула, глядя на молчащего из-под золотых очков добрыми, глупыми глазами.

Он ничего не знал о разоблачении последних покровов.

А на улицах, где было душно и ослепительно бело, проехали поливальщики в синих куртках.

Они сидели на бочках, а из-под бочек лилась вода.

Дома гора горой топорщились и чванились, словно откормленные свиньи.

Робкому пешеходу они то подмигивали бесчисленными окнами, то подставляли ему в знак презрения свою глухую стену, то насмехались над заветными мыслями его, выпуская столбы дыма.

В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику.

Были на дворике и две серые цесарки.

Талантливый художник на большом полотне изобразил «чудо», а в мясной лавке висело двадцать ободранных туш.

И все это знали, и все это скрывали, боясь обратить глаза свои к скуке.

А она стояла у каждого за плечами невидимым, туманным очертанием.

Хотя поливальщики утешали всех и каждого, разводя грязь, а на бульваре дети катали обручи.

Хотя смеялся всем в глаза свод голубой, свод серо-синий, свод небесный и страшный с солнцем-глазом посреди.

Оттуда неслись унылые и суровые песни Вечности великой. Вечности царящей.

И эти песни были как гаммы. Гаммы из невидимого мира. Вечно те же и те же. Едва оканчивались, как уже начинались.

Едва успокаивали, – и уж раздражали.

Вечно те же и те же, без начала и конца.

День кончался. На Пречистенском бульваре играла военная музыка, неизвестно зачем, и на бульвар пришли многие обитатели домов и подвалов, неизвестно откуда. Ходили взад и вперед по бульвару. Стояли перед музыкой, тесня и толкая друг друга.

Отпускали шуточки, наступали медвежьими лапами на платье дам; а человек с палочкой все махал и махал ею. Трубаچی, насупив брови, выводили: «Смейся, паяц, над любовью разбитой, смейся, что жизнь отравлена навсегда».

Зелено-бледный горбач с подвязанной щекой гулял на музыке, сопровождаемый малокровной супругой и колченогим сынишкой.

На нем было желтое пальто, огненные перчатки и громадный цилиндр. Это был врач городской больницы.

Еще вчера он отправил в сумасшедший дом одного чахоточного, который в больнице внезапно открыл перед всеми бездну.

Сумасшедший тихо шептал при этом: «Я знаю тебя, Вечность!»

Все ужаснулись, услышав о скрываемом, призвали горбатого врача и отправили смельчака куда не следовало.

Это было вчера, а сегодня горбатый врач гулял на музыке с малокровной супругой и колченогим сынишкой...

В модном магазине работал «лифт». Человек, управлявший занятной машиной, с остервенением летал вверх и вниз вдоль четырех этажей.

Везде стояли толпы дам и мужчин, врывавшиеся в вагончик, давя и ругая друг друга.

Хотя тут же были устроены лестницы.

И над этой толкотней величаво и таинственно от времени до времени возглашалось деревянным голосом: «Счет».

У окон книжного магазина стоял красивый юноша в поношенной тужурке, с непомерно грязной шеей и черными ногтями.

Он сентиментально смотрел на экземпляр немецкого перевода сочинений Максима Горького, пощипывая подбородок.

Перед книжным магазином стояла пара рысаков. На козлах сидел потный кучер с величавым лицом, черными усами и нависшими бровями.

Это был как бы второй Ницше.

Из магазина выскочила толстая свинья с пяточковым носом и в изящном пальто.

Она хрюкнула, увидев хорошенькую даму, и лениво вскочила в экипаж.

Ницше тронул поводья, и свинья, везомая рысакaми, отирала пот, выступивший на лбу.

Студент постоял перед окном книжного магазина и пошел своей дорогой, стараясь держать себя независимо.

Много еще ужасов бывало...

Темнело. На востоке была синяя дымка, грустно туманная и вечно скучная, а с бульвара неслись звуки оркестра.

Каждый точно сбросил с плеч свою скуку, а мальчишки и девчонки бегали по улицам с букетиками незабудок.

В тот час по всем направлениям можно было встретить угрюмых самокатчиков. В поте лица они работали ногами и сгибали спины; они угрожали звонками и таращили глаза, перегоняя друг друга.

В тот час философ возвращался домой своей деланной походкой, неся под мышкой *Критику чистого разума*.

Ему встретился на извозчике господин в котелке с рыжими отпрысками бороды.

Он сосал набалдашник своей трости, напевая веселую шансонетку.

Обменялись поклонами. Философ с деланной небрежностью приложил руку к фуражке, а сидящий на извозчике раздвинул рот, чтобы обнаружить свои гнилые зубы, и приветственно повращал кистью руки.

Не был он умником, но отец его отличался умом...

И то место, где они взаимно почтили себя приветствиями, опорожнилось... Справа виднелась спина философа и корешок *Критики чистого разума*, а слева – согбенный извозчик погонял свою клячу, увозя седока.

А над пустым местом из открытого окна раздавались плачевные звуки: «Аууу, аууу».

Это консерваторка пробовала голос.

Философ позвонил. И когда ему отворили, он швырнул на стол *Критику чистого разума*, а сам в беспредметной скуке упал на постель.

Последняя его мысль была такова: «Кант без Платона – туловище без головы». Он заснул и в мыслях своих был как бы без головы.

А бюст Иммануила Канта укоризненно качал головой и показывал язык спящему философу, стоя на письменном столе.

Философ спал. А над ним сгущались тени, вечно те же и те же, суровые и нежные, безжалостно мечтательные.

Сама Вечность разгуливала в одинокой квартире; постукивала и посмеивалась в соседней комнате.

Садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах.

Уже книжные шкафы бросали суровые тени, и тени встречались и, встречаясь, сгущались... Точно прятались в тени.

Но там никого не было, кроме Иммануила Канта и Платона, стоявших в виде поясных бюстов на столе.

Кант жаловался Платону на тугоумие молодого философа, а философ спал в час вечерних сумерек с бледным, ироническим лицом и сжатыми губами... И малый ребенок мог придушить его.

Его обдувал свежий ветерок после жаркого дня, ворвавшийся из открытого окна.

Из открытого окна неслись удары по мягкому: это жители подвального этажа выбивали пыль из мебели, вытащив ее на двор.

И он проснулся; и первую мыслью его была мысль о невозможности соединений учений Канта и Платона; и он поднял усталую голову со скомканных подушек; и он содрогнулся от вечернего холода.

И прямо в глаза ему смотрел резко очерченный месяц на темной, эмалевой сини... красный месяц.

Он вскочил в ужасе и схватил себя за голову; как безумно влюбленный, впился в бледнеющий круг.

Если бы снаружи заглянуть к нему в окно, страшно было бы увидеть лицо его, бледное, затененное, усталое.

Вечно так же и так же он глядел в дни весенних полнолуний.

Его нервы шалили, и он обратился к валерьяновым каплям.

А в соседней комнате висело огромное зеркало, отражавшее в себе вечно то же и то же.

Там был ужас отсутствия и небытия.

Там лежала на столе *Критика чистого разума*¹.

Была полночь. Улицы опустели.

Была одна улица вдоль сонной реки. К реке сбегали четыре переулочка.

Это был Первый Зачатьевский, Второй Зачатьевский, Третий Зачатьевский и, наконец, Четвертый Зачатьевский.

В небе словно играли вечные упражнения. Кто-то брал пальцем ту и другую ноту.

Сначала ту, а потом другую.

На опустелом тротуаре, озаренный фонарными огнями, семенил человечек в пенсне на вытянутом носе.

Ноги его были в калошах. Под мышкой он нес зонтик, хотя было тепло и сухо.

В руках он держал фолиант. Это было житие святого.

Он шагал неслышно, проплывая, как тень.

Он шел неизвестно откуда, и никто не мог сказать, куда он придет.

С противоположной стороны улицы открыли окно и подошли некие к окну.

То были две женщины с равнодушными, бледными лицами; они были худошавы и в черных чепцах.

Они были в черном. Старшая равнодушно указала на прохожего, заметила: «Поповский».

А уже Поповский проходил. Никакая сила не могла сказать, куда он придет.

Была отчаянная скука. В небе играли вечные упражнения; словно кто брал пальцем ту и другую ноту.

Сначала ту, а потом другую.

Едва кончал, как уже начинал.

Улица выходила на площадь. Поповский уже брел вдоль площади.

На площади коптил керосиновый фонарь.

Став против луны, можно было усмотреть над фонарем огромный черный столб копоти.

Ночью ограбили квартиру. Два хитровца выломали замки, но, не найдя лучшего, унесли старые калоши.

Утром еще солнце не взошло, а уже камни белели. Извозчики не выезжали. Пешеходы не мешали тишине.

Было светлое безлюдие.

В подвалах спали. Спали на чердаках. Спали в палатах. Бедные и богатые, умные и глупые – все спали.

¹ «Критика чистого разума» – сочинение Иммануила Канта (1724–1804) – немецкого философа и ученого, родоначальника немецкой классической философии.

Иные спали, безобразно скорчившись, иные, – разинув рты. Иные храпели. Иные казались мертвыми.

Все спали.

В палате для душевно-больных спали на одинаковых правах со здоровыми; лишь один душевно-больной меланхолик, мучимый коликами, ходил вдоль больничных постелей.

С ироническим, бледным лицом он пожимал плечами, наклоняясь к животно-глупым лицам спящих. Вдруг он закрыл лицо руками и закатился беззвучным хохотом.

Он кричал надтреснутым голосом: «Они не могут не спать и не есть! Они раздеваются для того, чтобы, накрывшись одеялом, омертветь! Они не могут не класть себе в рот посторонних предметов!..

Что они делают?»

Но тут сильная боль в желудке прервала его размышления. Он насупил брови.

Грозный, солнечный луч ударил в оконную раму и озарил своим алым блеском сухое, безумное лицо.

И словно обуянный вещим предчувствием, он погрозил своим длинным, худым пальцем в окно, откуда рвался блеск розового утра.

Где и здоровые спали на одинаковых правах с больными.

Поповский был консерватор. Его ненавидели свободомыслящие за свободное отношение к их воззрениям.

Светлые головы супили свои безбровые лбы перед тщедушной фигуркой.

Он имел дерзость не бояться холостых зарядов, а настоящие пролетали над его головой, потому что очень мал ростом был Поповский.

Поповский был церковник. Он чурался диавола и прогресса. Он полагал, что мы доживаем последние дни и что все, что блещет талантом, от диавола.

На знакомых он подмечал налет бесовщины, а по вечерам читал Евангелие.

Поповский был насмешник. Его тонкие губы всегда кривились от чуть видной усмешки. Во всяком мнении он отыскивал смешное и все браковал.

Таков был Поповский, и никакая сила не могла его сделать иным.

Еще с утра Поповский ходил по своим знакомым рассказывать о своей начитанности.

Он был в калошах и держал под мышкой ненужный ему зонтик.

По разным направлениям тащились конки, а в небесах сиял свод, серо-синий свод, страшный и скучный, с солнцем-глазом посреди.

Над туманным городом играли вечные упражнения. И скука, как знакомый, милый образ, танцевала на семи холмах.

И там... наверху... кто-то, пассивный и знающий, изо дня в день повторял: «сви-нар-ня».

Все то же и то же повторял изо дня в день.

В тот час зелено-бледный горбач, отправляясь в больницу, завязал свою щеку: у него болели зубы.

Он плохо завязался. Над головой его торчали два ушка.

И еще раз кто-то *знающий* сказал равнодушно: «свинарня», а петух на мощеном дворики схватил за гребень своего противника.

Тут все съехало с места, все сорвалось, и осталось... *бездонное*.

А минуты текли. Пешеходы сменялись, как минуты... И каждый прохожий имел свою минуту прохождения по каждому месту.

Каждый все делал в известное время: не находилось ни одного, кто бы сумел обойтись без времени.

А время текло без остановки, и в течении времени отражалась туманная Вечность.

Среди дня Поповский обошел пять мест и в пяти местах говорил о пяти предметах.

В одном месте он развивал мысль о вреде анализа и преимуществе синтеза.

В другом месте он высказал свой взгляд на Апокалипсис².

В третьем месте он ничего не сказал, потому что все было сказано; здесь он сыграл партию в шахматы.

В четвертом месте он говорил о суете земной, а в пятом месте его не приняли.

Повесил голову маленький Поповский и пошел в шестое место.

На большой улице Поповский встретил своего врага, демократа.

Тот был изящно одет; его обтянутая перчаткой рука сжимала алую розу.

Поповский шел, куда хотел, говорить о церковноприходских школах, а демократ про-гуливался с тростью в руке.

Обменялись взаимным презрением. Поклонились. Еще вчера демократ осыпал бранью Поповского в конторе либеральной газеты.

А солидный его превосходительство, редактор-либерал, багровый и почтенный, прибавил к резкостям демократа еще свои резкости.

Это у них называлось идти в уровень с веком.

Это было вчера... А сегодня демократ гулял по улицам с алой розой в руке, устремив к небу свои робкие, мечтательные глаза.

Уже он забывал Поповского; ему в глаза глядел свод голубой, одинаковый для либералов и консерваторов.

Тогда проехали поливальщики, ведущие борьбу с пылью.

Это были равнодушные люди, сидящие на бочках.

Из-под бочек обильно лилась вода, уснащая улицы ненужной жидкостью и разводя грязь.

А минуты текли. Пешеходы сменялись, как минуты... И каждый прохожий имел свою минуту прохождения по каждому месту.

И каждая бочка в известную минуту опорожнялась. Поливальщик ехал наполнять ее.

И тогда демократ увидел свою сказку, сказку демократа.

По улице ехал экипаж, а на козлах сидел окаменелый кучер в цилиндре и с английским кнутом.

В экипаже сидела сказка, сказка демократа.

У нее были коралловые губы и синие, синие глаза, глаза сказки.

Она была жена доброго морского кентавра, получившего права гражданства со времен Бёклина³.

² *Апокалипсис* – «Откровение Иоанна», одна из книг Нового завета. Содержит пророчества о «конце света», о борьбе Христа с антихристом, «страшном суде», «тысячелетнем царство божьем».

³ *Бёклин* Арнольд (1827–1901) – швейцарский живописец. Представитель символизма и стиля модерн. В фантастических сценах сочетал надуманную символику с натуралистической достоверностью. В некоторых из его картин предстает мир мифических существ: кентавров и др.

Прежде он фыркал и нырял среди волн, но затем вознамерился обменять морской образ жизни на сухопутный.

Четыре копыта на две ноги; потом он облекся во фрак и стал человеком.

Ее муж был кентавр, а сама она была сказка и морская нимфа.

Так проехала сказка, сказка демократа, чуть-чуть улыбнувшись своему мечтателю, пронзив его синим взором.

Обрызгав грязью почтенного старичка в старом пальто.

Закричал почтенный старик, пригрозив улетающей сказке. Обтер свое окаченное грязью лицо и шипел: «Чтоб черт побрал богатых...»

А потом продолжал свой путь в редакцию «Московских Ведомостей», относя передовую статью.

Над ее консерватизмом поглумился вдоволь демократ, изящный и с иголки одетый.

Но это было на другой день... А теперь он замечтался с алой розой в руке.

И не видел, и не слышал. Вспоминая свою сказку, улыбаясь образу синеглазой нимфы.

В огромном магазине всего модного усердно работал «лифт», и человек, управлявший занятой машиной, с остервенением носился вдоль четырех этажей.

Едва он причаливал ко второму этажу, как уже на третьем его ожидали с глупыми, нетерпеливыми лицами; едва он причаливал к третьему, как в первом поднимался ропот негодования.

И среди этого содома то тут, то там раздавались таинственные голоса: «Счет».

В подвальном этаже чирикала канарейка. Здесь работал сапожник, созерцающая мелькавшие ноги пешеходов.

Проходили сапоги со скрипом, желтые туфли, проходило отсутствие всяких сапог.

Все это видел лукавый сапожник и весело вертел шилом, протыкая свежую кожу.

А по Рязанской железной дороге катился товарный поезд с черкасскими быками; быки выставляли свои сонные морды, а паровоз, как безумный, кричал.

Он был злорадный и торжествовал, подвозя поезд с быками к городским бойням.

И все это знали. И каждый боялся взглянуть в глаза правде. И у каждого за плечами стояла скука, среди мелочей открывая бездонное.

И обернувшийся смельчак внезапно смирялся ее грозящим пальцем.

Она была всего ужасней белым, солнечным днем...

Прокатил морской кентавр, получивший права гражданства со времен Бёклина.

От его доброго, полного силуэта несло изящной простотой. Его увозили вороньи рысаки.

Он думал...

Молодой философ читал «Критику чистого разума», сидя в качалке, раскачиваясь ногами.

Он то углублялся в чтение, то ронял книгу на колени и бился головой о спинку качалки, обдумывая прочитанное, импровизируя философские фокусы и психологические штучки.

Так, прочтя о времени и пространстве как априорных формах познания, он стал придумывать, нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись и от времени и от пространства, уйти от них в бездонную даль.

В ту минуту все было сорвано, все струны, все нити разорвались, а ему в глаза улыбался свод голубой, свод серо-синий, полный музыкальной скуки, с солнцем-глазом посреди.

И он бросил чтение. Подошел к огромному зеркалу, висевшему в соседней комнате. Взглянул на себя.

Перед ним стоял бледный молодой человек, недурной собой, с шевелюрой, всклокоченной над челом.

И он показал язык бледному молодому человеку, дабы сказать себе: «Я безумный». И молодой человек ему ответил тем же.

Так они стояли друг перед другом с разинутыми ртами, полагая один про другого, что тот, другой, и есть поддельный.

Но кто мог сказать это наверняка?

Чтоб рассеяться, он подошел к разбитому пианино. Сел на табурет и открыл крышку.

И стало пианино выставлять свою нижнюю челюсть, чтобы сидящий на табурете бил его по зубам.

И философ ударил по зубам старого друга.

И пошли удары за ударом. И прислуга философа затыкала уши ватой, хотя была она в кухне и все двери были затворены.

И этот ужас был зуд пальцев, и назывался он *импровизацией*.

В соседнюю комнату была дверь отворена. Там было зеркало. В зеркале отражалась спина сидящего на табурете перед разбитым пианино.

Другой сидящий играл на пианино, как и первый сидящий. Оба сидели друг к другу спиной.

И так продолжалось до бесконечности...

Но позвонили. И философ, закрыв крышку пианино, ушел в соседнюю комнату.

Комната осталась пуста: только *Критика чистого разума* лежала на столе.

Вошедшая женщина в черном равнодушно глядела на *Критику чистого разума*, подперев рукой в перчатке свое худое, морщинистое лицо.

В руке она держала ридикюль... Уже солнце склонялось; из огненно-белого становилось золотистым...

В нижнем этаже кому-то выдернули зуб.

Но вошел причесанный философ и любезно попросил свою гостью в гостиную.

Гостиная мебель была в чехлах. Черная гостья села боком к огромному зеркалу. Она была родственницей и завела речь о печальных обстоятельствах.

У нее умер сын. Сегодня она схоронила его. Теперь она осталась одна во всем мире.

Никого у нее не было. Никому она не была нужна.

Получала она пенсию. Уже десять лет ходила в черном.

Так она говорила. Слезы не капали из глаз.

И голос ее был такой же, как всегда. Постороннему казалось бы, что на губах ее мелькала улыбка.

Но это было горе.

Она рассказывала о смерти сына таким же тоном, каким вчера заказывала обед, а два дня тому назад она так же жаловалась на дороговизну съестных припасов.

Уже она привыкла к печали; мелочи и важные события вызывали в ней одинаковое чувство.

Она была тиха в своей скорби.

Уже она кончила и сидела, опустив голову, перебирая пальцами в перчатках свой риди-кюль.

А он стоял перед ней в деланной позе, чистил ногти и говорил: «Нужно смотреть на мир с философской точки зрения».

Но тут позвонили. Он попросил по-родственному обождать, а сам поспешил выйти навстречу гостю...

В соседней комнате стоял Поповский, держа под мышкой житие святых Козьмы и Дамиана.

Пожали, руки. Заговорили так, как будто оба они были ангелами.

С невинной улыбкой обсуждали состояние погоды... Потом молчали... Потом философ ударил рукой по *Критике чистого разума* и сказал: «Тут есть одно место...»

И все пошло как по писаному.

Скоро Поповский скривил свои тонкие губы: это означало, что он – насмешник; скоро он стал оглядываться, нет ли здесь черта; это означало, что он – церковник.

А его противник с красиво-деланными жестами расхаживал по комнате, выводя из Канта Шопенгауэра.

Скоро все смешалось: были слышны лишь отрывочные восклицания: «Постулат... Категорический императив... Синтез...»

...А... в соседней комнате сидела черная гостья, подставив свой профиль огромному зеркалу.

Она ждала хозяина по-родственному и часто моргала своими крохотными, карими глазками.

Ничего она не понимала. Долетали до нее отрывки фраз.

А рядом с ней в зеркале сидела другая, такая же черная, как и она.

Так она и не дождалась философа, так и ушла по-родственному, не простившись.

Надев калоши, сказала прислуге: «А у меня скончался Петюша».

Мыслей у нее не было... В ушах еще звенел голосище приходского дьякона: «Во блаженном успении вечный покой...»

Такой был голосистый дьякон.

Философ говорил долго. Говорил яро. Говорил до изнеможения, пока не ушел Поповский.

Усталый и бледный, пришел к себе в комнату и упал на постель.

Последняя мысль его была такова: «Не то, не то... Опять все не то... Ах, кабы спрятаться! Ах, кабы отдохнуть!»

Он спал... А над ним сгущались тени. Вечно те же и те же, суровые и нежные, безжалостно мечтательные.

Сама Вечность в образе черной гостьи разгуливала вдоль одиноких комнат, садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах, по-вечному, по-родственному.

Уже хмурились книжные шкафы; и тени встречались и, встречаясь, сгущались.

Так он спал в час весенних сумерек с бледным, ироническим лицом и без всякой деланности...

И малый ребенок мог придушить его.

Его окно было открыто. Оттуда дул прохладный ветерок.

С противоположной стороны к нему в окно из окна смотрел толстый Дормидонт Иванович, возвратившись со службы.

Дормидонт Иванович пил чай с блюдечка и, глядя в окно к нему, думал: «Интересно бы знать, сколько платят за эту квартиру».

Снова показались угрюмые самокатчики; снова продавали незабудки; и музыка на другом бульваре играла: «Смейся, паяц».

На перекрестке двух улиц стоял как бы почтенный отец семейства с седыми усами, одетый с достоинством.

Ничего в его наружности не было кричащего; все соответствовало, все было подчинено общей идее.

Он курил дорогую сигару, обсуждая коммерческое предприятие; его громадный нос намекал на армянское происхождение.

Это был заезжий жулик из южных провинций.

А к нему навстречу жуликом бежал профессор Московского университета с экзаменов.

Оба не знали, зачем существуют и к чему придут. Оба были в положении учеников, написавших «extemporalia»⁴, но не знающих, какую получают отметку.

Вставала луна. Опять как вчера, она вставала.

Так же она встанет и завтра и послезавтра.

А уж затем не миновать ей невольного ущемления.

Философ проснулся... Поднял голову со скомканных подушек... И прямо в глаза ему смотрел резко очерченный месяц на темно-эмалевой сини...

Красный месяц!..

Философ вскочил в ужасе; схватил себя за голову; как безумно влюбленный, смотрел на страшный диск.

Тогда демократ писал критическую статью в своем номере. Увидел луну. Горестно улыбнулся.

Бросил перо и свои мысли, скакавшие и вертевшиеся, как беспокойные собачки.

Потер свой лоб и шептал: «Не то, совсем не то».

Вспомнил сказку.

...Поднялась шелковая занавеска. Кто-то открыл окно на том конце города.

Дом был самый модный и декадентский, а в окне стояла сказка.

Она оправляла свои рыжие волосы; улыбалась, глядя на луну. Она говорила: «Да... знаю».

Она смотрела синими, печальными очами, вспоминая своего мечтателя.

У подъезда стояли воронные кони и ждали ее, потому что был час катаний.

Тогда зелено-бледный горбач, возвратившись из больницы, отобедал.

К нему пришел двоюродный брат и пожаловался на страдания свои: говорил, как по вечерам ему кажется, что предметы сходят с мест своих.

Горбач потрепал по плечу нервного братца и заметил добродушно, что этим нечего смущаться, что это «псевдогаллюцинации д-ра Кандинского»⁵.

Так сказав, он открыл рояль и заиграл Патетическую сонату Бетховена.

⁴ Классное упражнение в переводе текста без домашней подготовки.

⁵ См. Курс психиатрии Корсакова. (Примеч. авт.)

Но этого не смог вынести нервный родственник; нервному родственнику казалось, что предметы сходят с мест своих.

Это были псевдогаллюцинации д-ра Кандинского.

Но горбач продолжал играть *Патетическую сонату*. Глаза его были строги. Над головой торчало два ушка.

Он был большой сентиментал.

И звуки лились... Колченогий сынишка перестал готовиться к экзамену... Проследился втихомолку.

Уже прислуга спала. Огни в людской были потушены, хотя час для сна еще не был узаконен; теща зелено-бледного горбача стояла на пороге кухни.

Ее огромный живот и свиноподобное лицо сияли в игре месячных лучей.

Она ругалась, как кухарка, поднимая заснувшую кухарку.

Ночью по Остоженке проходил Поповский.

Он шел неизвестно откуда, и никакая сила не могла изменить его пути.

С противоположной стороны улицы открыли окно две бледные женщины в черном.

Старшая равнодушно указала на проходящего и сказала бесцветно: «Поповский».

Обе были грустны, точно потеряли по сыну. Обе были похожи друг на друга.

Одна походила на зеркальное отражение другой.

Окно декадентского дома было открыто, и в окне мелькало очертание бёклиновской сказки.

Сказка бесцельно шагала по комнате, и, казалось, темное горе заволакивало ее лицо.

Наконец, она сказала: «Скука!» Села в кресло.

И вдали, вдали, как бы в насмешку над миром, заорали: «Каравул». Раздались тревожные свистки.

Это один разбил нос другому, потому что оба были пьяны.

Ночью все спали. Утром шел косой, солнечный дождь.

Солнце весело посмеивалось сквозь льющиеся струи. На целых полдня были упразднены поливальщики.

Утром хоронили тифозного больного в церкви «Никола-на-курьих ножках». Оттуда несли его линейный, лиловый гроб, обитый мишурным золотом.

Впереди шел поп с рыжей бородой и красным носом.

Сзади ехали три линейки; все они были вытерты; бесцельно грохотали они по невозможной мостовой.

Первая линейка была обита линейным синим, вторая – линейным красным, а цвет третьей нельзя было разобрать.

Было очень грустно: не доставало шарманки и паяца.

В первой линейке сидели и плакали.

Во второй у сидящих были только печальные лица.

В третьей сидели две старухи с довольными, полными лицами; одна держала тарелку, завязанную платком.

Здесь была кутя.

Обе старухи оживленно болтали, ожидая поминального обеда.

Тут же в процессии был уже зараженный тифом, которому надлежало завтра слечь в постель.

Так подвигалась печальная процессия к далекому кладбищу.

Улицы были исковыряны. Люди со скотскими лицами одни укладывали камни, другие посыпали их песком, третьи прибивали их трамбовками.

В стороне лежало рваньё в куче: здесь были и бараньи полушубки, и шапки, и краюхи хлеба, и неизменно спящий, желтый пес.

А там, где вчера сидел зловонный нищий и показывал равнодушным прохожим свою искусственную язву, – варили асфальт.

Шел чад. Асфальтовщики по целым минутам висели на железных стержнях, перемешивая черную кашу в чанах.

Потом выливали черную кашу на тротуар, посыпали песком и оставляли на произвол, подвергая естественному охлаждению.

Усталые прохожие обегали это смрадное место, спеша неизвестно куда.

Читающий *Критику чистого разума* был сегодня в ударе.

Он нашел ошибки у Канта и построил на их основании оригинальную систему.

Он рылся в шкафах между философскими сочинениями, поднимая невыразимую пыль.

А с противоположной стороны окно Дормидонта Ивановича было закрыто, потому что сам Дормидонт Иванович сидел в Казенной Палате.

Он был столоначальник: его любили писаря.

Мечтательный демократ решительно не мог работать; вчера он написал письмо сказочной нимфе, а сегодня она должна была его получить.

Ему была заказана критика консервативного сочинения. Демократ по закону осыпал колкостями консервативного автора.

Но собственные мысли казались скучны, как собаки. Перо валилось из рук.

А прямо в лицо ему голубая чистота смеялась и шутила. Он мечтательно глядел в окно. Что это он делал?

Синеглазая нимфа получила письмо от мечтателя. Она была в смутном волнении.

Весь день глядела презрительно на доброго кентавра, доставляя ему неприятности.

Оправлял кентавр свои воротнички и покрикивал на лакеев.

Это был добрый кентавр. Его угнетали неприятности.

Прение он фыркал и нырял среди волн, а теперь было совсем, совсем не то.

Аристократический старичок давал вечер. По пятницам у его подъезда стояли экипажи.

У него появились и ученые, и дипломаты, и люди самого высшего общества.

Это был добрый старичок и не чуждался направлений.

Консерваторы, либералы и марксисты одинаково любили аристократического старичка.

Сюда приходил даже великий писатель, пахарь и граф без всякой неприязни.

Всех трепал по плечу добрый старичок со звездой на груди и одинаково говорил: «Да, да, конечно...»

В изящной гостиной толстая супруга важного старичка уснащала гостей любезностями.

Были гости во фраках и белых галстуках: все они были мило развязны и невинно изящны; все они испускали из себя лучи света и, сияя, не подозревали об этом.

Все они, пройдя три стадии превращений, стали детьми: ни злых львов, ни косолапых верблюдов здесь нельзя было встретить. Это происходило не оттого, что их не любил всеблагий старичок.

Это происходило оттого, что грозные слуги не впускали всех без исключения.

Две молодые дочери старичка предлагали гостям, передергивая плечами: «Хотите чаю?»

Многие пили, а иные и отказывались. Этим предлагали идти в залу.

В зале молодые люди во фраках, выхоленные и женственные, мило ввали.

Молодые девушки, красивые и некрасивые, подхватывали вранье и доводили его до абсурда.

Все были веселы. Никто ни о чем не заботился.

Казалось, Царство Небесное сошло на землю.

Сам аристократический, старичок, чистый и выбритый, со звездой на груди, брал то того, то другого под руки и уводил к себе в кабинет.

Это не был банальный кабинет, но комната, уставленная дорогими копиями с великих мастеров.

Всех одинаково сажал старичок против себя, всем говорил приятное.

Со всеми заводил умный разговор, и все разрешалось в этом разговоре просто и легко.

Дипломат соглашался с соображениями старичка; карьеристу показывал старичок портреты лиц, власть имеющих, с собственными подписями.

Ученому хвалил науку и однажды плакал у студента на груди, жалея современную молодежь.

Цинику показывал нецензурные парижские издания, предварительно затворив дверь.

Всех любил добрый старичок, стараясь сделать каждому приятное.

Вставала луна. Опять, как вчера, она вставала. Так же встанет и завтра.

А затем уж не миновать ей невольного ущемления.

У Поповского болели зубы.

Попирая мягкие ковры парадной лестницы, поднимался изящный демократ во фраке.

При входе в гостиную его чуть не сбили с ног два безусых фрачника; у одного в руках была гитара.

Они стремились в зал, откуда раздавались звуки музыки и где молодые, а также и старые люди наивничали под аккомпанемент рояли.

Сказали безусые фрачники «pardon» и пробежали, как сумасшедшие, мимо демократа.

При входе в гостиную демократ небрежно склонил свою надушенную голову, выражая всем свое изящное почтение.

Он больше слушал, чем говорил: этого от него требовало приличие.

Ведь он был критик, и к нему шло молчание.

В числе гостей был молодой человек с длинным носом и потными руками: это был модный музыкант.

Был тут и талантливый художник, изобразивший на большом полотне «чудо».

Был тут и знакомый философ, потому что он был талантлив.

Была и важная особа из консерваторов, имеющая отношение к делам печати.

Важная особа любезничала с блестящим демократом; она сделала приятный жест руками и, мило смеясь, заметила бархатным голосом: «Разность убеждений не мешает нам ценить друг друга».

И блестящий демократ склонил свою надушенную голову, выражая собою полную беспристрастность.

Самого аристократического старичка здесь не было; он сидел в своей комнате со старым князем-благотворителем.

Наклоняли старички друг к другу свои бритые, старые лица и говорили о том, какая теперь дребедень в силе.

Князь-благотетель жалел об отмене крепостного права, а угодливый хозяин участливо жевал беззубым ртом и вставлял между слов князя: «Да, да, конечно».

В гостиную вошла сказка мягкими, неслышными шагами.

У нее было светло-серое платье и на нем были нашиты серебряно-бледные листья. В рыжих волосах горела бриллиантовая звезда.

Она ступала тихо и мягко, как бы пряча свое изящество в простоте.

Это был верх аристократической естественности.

И молодой демократ запнулся на полуслове, и почва ушла у него из-под ног.

А за сказочной нимфой уже вырастало очертание ее кентавра, которого голова уплывала в шее, шея в сорочке, а сорочка во фраке.

Сказала хозяйка: «Кажется, здесь все знакомы» – и, вспомнив, представила сказку демократу.

Они подали друг другу руки, и демократ почувствовал на себе пронзивший его взгляд синих очей.

Взгляд был ласковый. Демократ понял, что на него не сердились за письмо.

Из залы доносились звуки рояли; там изящная молодежь предавалась изысканным удовольствиям.

А они говорили друг с другом в натянуто-милых и светски-приторных выражениях, как ни в чем не бывало.

Хотя каждое слово демократа сопровождалось особым аккомпанементом; этот аккомпанемент означал: «Не то, не то».

Бёклинская сказка слушала речь о пустяках шаловливо и участливо, говоря: «неужели» или «скажите, как это интересно».

Но за этим «скажите» прятался ответ на «не то»: «Да, да... знаю...»

Это была изящная и шаловливая игра не без лукавства.

«Любите ли вы музыку?» – сказала демократу его сказка, а он в ответ: «Нет, не люблю» – и сопровождал свои слова как бы тремя звездочками.

А под тремя звездочками значилось: читай так: «Я люблю музыку больше всего на свете после вас».

И сказка отвечала: «Впрочем, такому серьезному человеку не до музыки». И при этом стояли как бы три звездочки.

А под тремя звездочками значилось: читай так: «А ты очень неглуп».

Потом обратилась сказка с ласковой непринужденностью к толстой хозяйке, сказав: «Вы будете, конечно, на празднике цветов?»

Но тут появившаяся в дверях старшая дочь лучезарного старичка пригласила демократа присоединиться к их веселому обществу, направив на него свой черепаховый лорнет.

Скрепя сердце, он склонил голову и последовал за тонкой барышней, понимая, что *это* понравится синеглазой нимфе.

В зале молодые люди и молодые девицы мило вразили.

Среди них был мрачен философ, увидевший в окне луну, повитую дымкой, удалившийся в бездонно-грозящее.

Он нашел в своей новой системе отчаянные промахи; досадливым пятном выступала перед его духовным взором непогрешимость *Критики чистого разума*.

Его нервы шалили.

Толстый кентавр, весь – простота и утонченность, подсел к талантливому художнику, изобразившему «чудо».

Он хотел купить «чудо», а пока терпеливо выслушивал речь о неудобствах масляной живописи.

В зале пели. Безусый фрачник играл на рояли. Он плясал на кончике табурета, поднимая руки над клавишами, налегая всем корпусом на собственные локти. Так было принято.

Добрый военный генерального штаба с серебряными аксельбантами играл на гитаре, отбивая такт мягкими, лакированными сапогами, качая вправо и влево седеющей головой.

Так мило они веселились. Казалось, Царствие Небесное спустилось на землю.

Молодой демократ сидел убаюканный цыганским мотивом и разговором со сказкой.

Как очарованный, слушал пение.

Пел военный генерального штаба с черными усами и милым, но недалеким лицом: «Под чагующей лаской твоею оживаю я снова опять... Грезы пгезние снова лелею, вновь хочу любить и отгадать...»

Он пел грудным, страстным голосом и срывал концы слов, как истый цыган.

И хор молодых фрачников и девиц подхватывал: «Поцелуем дай забвенье, муки сердца исцели!!» «Пусть умчится прочь сомненье! Поцелуем оживи!!!»

Фрачники и молодые девицы раскачивали головами вправо и влево, аккомпаниатор плясал на конце табурета, а худая, как палка, дочь хозяина закатывала в пении глаза, ударяя черепаховой лорнеткой ловкого аккомпаниатора.

Молодой демократ, глядя на поющих, думал: «Это не люди, а идеи моего счастья», а дочь старичка кивала ему, как бы говоря: «Мы идеи, но не люди»; а сам лучезарный старичок, бритый и чистый, со звездой на груди, стоял в дверях и умильно улыбался поющей молодежи, шепча еле слышно: «Да, да, конечно...»

Философ нахмурился, туча в окне закрыла луну; он нашел в своих построениях еще ошибку.

Некто из фрачников наклонился к дочери старичка, сказав про философа: «*Qui est ce drôle?*»⁶

Военный генерального штаба, с черными, таракаными усами и милым, добрым лицом, пел: «Пусть газсудок твегдит мне суговый, что газлюбишь, изменишь мне ты-и-и! Чаг твоих мне не стгашны оковы: я во власти твоей кгасоты!!»

⁶ Кто это, такой смешной? (фр.)

Он пел грудным, страстным голосом и срывал концы слов, как истый цыган.

Хор подхватывал. Фрачники и молодые девицы раскачивали головами вправо и влево, аккомпаниатор плясал на конце табурета; молодой демократ думал: «Это не люди, а идеи моего счастья». Старичок, бритый и чистый, со звездой на груди, стоял в дверях и умильно улыбался, глядя на поющую молодежь, шепча еле слышно: «Да, да, конечно».

В это время демократ увидел, как вдаль прошла сказка с кентавром, направляясь к выходной лестнице.

Она бросила в зал свой странный, блуждающий взгляд, ничего не доказывающий, и грустно улыбнулась коралловыми губами.

Дальше мелькнул огонь ее волос. Дальше понял демократ, что едва ли они увидятся так близко.

И вновь все провалилось с оборванными струнами. А из хаоса кивала скука, вечная как мир, темная как ночь.

Скука глядела из окна, из глаз ужаснувшегося философа.

Казалось, что-то изменилось. Кто-то вошел, кого не было. Кто-то знакомый и невидимый стоял в чересчур ярко освещенной зале.

А военный генерального штаба, ничего не замечая, доканчивал свое пение: «Если б даже за миг тот пеггасный мне могила была б суждена...»

«Могила», – подумал демократ. Хор подхватывал. Фрачники и девицы раскачивали головами вправо и влево. Аккомпаниатор плясал на конце табурета.

И увидел демократ, что это все ложные идеи, а к нему ласково подошел бритый старичок со звездой на груди. Взял под руку и шептал: «Я иду в уровень с веком, я люблю современную молодежь».

Демократ и философ темней ночи вместе вышли на улицу.

Надвигалась гроза.

Их путь был общий, но шли они молча, прислушиваясь к вечным упражнениям.

Минуты текли за минутами, искони все те же. Два ряда фонарей мигали газовыми языками.

Молодой демократ, томный и несчастный, видел перед собой насмешливо кивающего старичка. Нервы философа окончательно расшатались. Безумие подкрадывалось к нему медленными, но верными шагами.

Уже оно стояло за плечами. Страшно было, обернувшись невзначай, увидеть это грозящее лицо.

Так шли они, обреченные на гибель, темною ночью.

Уже пыль, крутась, неслась вдоль сонных улиц.

На перекрестке они сухо простились. Несмотря на все, они помнили, что принадлежат к разным партиям.

Философ пошел своей деланной походкой вдоль одинокого переулочка, ужасаясь и не оборачиваясь.

Ему казалось, что за ним идет грозящий ужас, и он вспомнил, что в его одинокой квартире есть огромное зеркало и что сейчас в зеркале отражается его комната.

Его заботил вопрос, правильно ли она отражается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.